

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

**РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ**

143

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 143

TRIMESTRIEL

IV - 1984

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

ДВЕ РЕФОРМЫ*
(Публикация Темиры Пахмусс)

1

Самое легкое в такие дни, как наши, отчаяться; самое трудное, почти невозможное, — сохранить надежду. Неисчерпаемое терпение — неисчерпаемая надежда, потому что изменить Христу, Надежде Бесконечной, значит предать Его, как предал Иуда, и потому что сказать, что нет надежды, значит сказать, что Христос ошибся или солгал.

2

*Личность будь для человека
Высшим благом на земле!
Höchstes Glück der Erdekinder
Sei nur die Persönlichkeit.*

Goethe

Быть человеком, значит быть личностью, — это дважды два четыре люди помнили две тысячи лет христианства; помнили и раньше, на вершинах язычества, в мистериях, — и вдруг забыли так, как будто мгновенно сошли с ума; только что начали первую Великую войну, как личность забыли, и это забвение, конечно, связано с началом войны.

* Публикуется впервые. Статья написана Мережковским в начале Второй мировой войны. Развивая в ней постулаты своего религиозно-философского учения, сформулированные им еще в начале века, Мережковский опирается в статье на свои собственные произведения (*Иисус Неизвестный*, Белград, 1931; *Франциск Ассизский*, Берлин, 1938; *Тереза Авильская*, рукопись целиком не публиковалась; *Лютер*, пер. на франц. яз. К. Андроников, Париж, 1941; *Кальвин*, пер. на франц. яз. К. Андроников, Париж, 1942; *Паскаль*, пер. на франц. яз. К. Андроников, Париж, 1941), а также на относящиеся к вопросу работы других авторов (De Wette, *Luthers Briefwechsel*, 1885–1889; Fel. Kuhn, *Luther, sa vie et son œuvre*, 1883; John Mathesius, *Das Leben Dr. Martin Luthers*, 1817; Ranke, *Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation*, 1842; Loescher, *Vollständ. Reformat. acta et documenta* (1517–1520); *Luthers Tischreden*,

Между государством и Церковью среднее, необходимое для личности, как для живого тела кислород, — общество. Кислород личности выделяет из себя, как ночное растение, Церковь, а водород безличности выделяет из себя государство, как дневное животное. Личность в Церкви абсолютно есть; в государстве нет ее так же абсолютно, а в обществе то есть, то нет.

Что такое вторая Великая война, — действительно ли борьба за христианство, за Церковь, за личность, как утверждает все еще как будто христианская Европа, или что-то совсем другое, — это покажет мир, если он возможен после *такой* Войны, и если мир не окажется снова только перемирием, накануне третьей, еще большей войны, как очень похоже на то, потому что гнусный Пандорин ящик всех войн, русский коммунизм, все еще слишком многим нравится.

Сколько бы отдельные народы ни делали попыток основать всемирное государство, чтобы выйти из бытия только народного в бытие всемирное, — все эти попытки кончались и будут кончаться войнами на истребление, потому что рядом с одним народом, стремящимся к бытию всемирному, будут и другие, к тому же бытию стремящиеся, а так как, по физическому закону, два тела не могут быть одновременно в одном и том же пространстве, то не может быть и двух народов в одном всемирном бытии одновременно. Есть только одно единственное на земле Существо, от начала до конца, по метафизическому замыслу своему всемирное, потому что стоящее над всеми народами, — Церковь.

Если "тоталитарная" государственность есть и "тоталитарная" безличность, то это еще вовсе не значит, что и наоборот, "тоталитарная" личность (будем говорить на гнусном, но, увы, единственно всем понятном языке наших дней), тоталитарная личность есть и тоталитарная безгосударственность — та преждевременная и слишком легкая воля к безвластию, которая свойственна иногда преждевременным и слишком легким "христианам" наших дней. Кажется, недаром в самом основном и глубочайшем религиозном опыте христианства, Царстве Божием, Теократии, заключено уже понятие какого-то "государства", "царства". Вот почему и в кажущемся парадоксе ап. Павла — "всякая

Frankfurt, 1568; Henry Strohl, *Luther*, 1953; L. Febvre, *Un destin. Martin Luther*, 1928; Henry Strohl, *L'Epanouissement de la pensée religieuse de Luther*, 1924; Funck-Brentano, *Luther*, 1933; Edw. Booth, *Luther*, 1934; Wilfred Monod, *Du Protestantisme*, 1928; G. A. Hoff, *Luther d'après Luther*, 1887; Michelet, *Mémoires de Luther*, 1887). См. также статью Мережковского "Что сделал св. Иоанн Креста" в "Новом Журнале" (Нью-Йорк, 1962, кн. 69) и: Антон Крайний (З. Гиппиус), *Литературный дневник; 1899–1907*, СПб., 1908. — Т. Пахмусс.

власть от Бога” (и власть Нерона Зверя тоже от Бога? — могли бы спросить мученики, мог бы спросить и сам Павел мученик), — в этом парадоксе есть какая-то нам, а, может быть, и самому ап. Павлу еще непонятная истина. Здесь, как во всяком глубоком религиозном опыте, заключена вечно-разрешаемая, но для человека без Бога неразрешимая антиномия ”противное-согласное” (по Гераклиту, двух Божественных Начал, Отца и Сына, в третьем Начале, Духе). Это значит, что для познания того, как относится дух к плоти, личность к государству, и обратно, — нужен Троичный, или, говоря на школьно-философском, схоластическом, но опять-таки всем понятном языке наших дней, ”синтетический” метод познания.

3

Как относится личность к Церкви и к государству? Этот вопрос поднят сейчас, во второй Великой войне, с такой же остротой и глубиной внутреннего религиозного опыта, как в реформе Лютера и Кальвина, но с такой широтой внешнего, всемирно-исторического опыта, как еще никогда за две тысячи лет христианства. Чтобы это увидеть как следует, надо понять, что такое реформа, в последнем и вечном смысле этого слова.

Всякое живое тело непрерывно обновляется заменой старых, отмирающих органических клеток новыми, начинающими жить. В этом физиологическом и метафизическом смысле, всякая жизнь есть обновление, преобразование, реформа, и всякая реформа есть жизнь; в этом же смысле, вечная Реформа совершается и в живом Теле Христа — Церкви.

Первую великую реформу в старой, иудео-христианской Церкви верховных апостолов Петра, Иоанна и Иакова, начал ”апостол язычников”, Павел, отменой обрезания и абсолютности Ветхого Закона: ”конец Закона — Христос” (Рм. 10,4). Точно так же, как в I веке, при ап. Павле, совершается реформа и в XI веке, при св. Бернарде Клервосском, и в XIII, при св. Франциске Ассизском, и в XVI, при св. Иоанне Креста и св. Терезе Иисуса.

Мир погибает сейчас потому, что нет полного спасения, полного христианства, полного Христа, а есть только полу-спасение, полу-христианство, полу-Христос, или какие-то их бесконечно малые дробы, — это именно кощунство и совершается в мире сейчас.

Сил у католической реформы хватило только для того, чтобы начать спасение римской Церкви, а значит всего христианства на

Западе, но не для того, чтобы это спасение кончить; и не излеченная, а лишь загнанная внутрь болезнь "полу-спасения", "полу-христианства" сделалась еще опаснее.

Если плод белого цветка римской Церкви, теократия, уже истлел, не дозрев, то, может быть, и плод красного цветка реформы и революции, демократия, тоже, не дозрев, истлеет на наших глазах. В нынешней второй Великой войне решаются последние судьбы реформы. Что в XV—XVI веке началось (Виклеф, Ян Гус, Лютер и Кальвин), — кончается в XX веке. Это и значит: последние судьбы всех трех Церквей, католической, протестантской и православной, решаются на наших глазах, во второй Великой войне.

Только что Лютер сказал: "лишь Невидимая Церковь будет вселенскою", — как самая идея теократии погасла в умах. "Бог установил две власти — одну духовную, действующую на христиан Духом святым... и другую, светскую, действующую (на не-христиан) насилием", — учит Лютер. "В качестве христианина я должен все терпеть, а в качестве гражданина я должен противиться злу — государственным насилием". "Маленьким Катехизисом" Лютера заменяется Евангелие. Папскими буллами и церковными канонами завалено учение Христа в католической Церкви, а в протестантской — государственными законами, и где больше завалено, трудно сказать; может быть одинаково. Это и значит: вместо "невидимой", а может быть и несуществующей на земле вселенской Церкви, — видимое и несомненно-существующее государство, "царство человеческое", а может быть и "бесовское".

Слишком хорошо сознает сам Лютер, что здесь реформа не удалась, потому что "Сатана все тот же (в новой протестантской Церкви, как и в старой, католической); вся разница лишь в том, что некогда, под властью папы, смешивал он Церковь с государством, а теперь государство смешивает с Церковью". Кажется, нельзя было точнее предсказать того, что произошло в женевской "Теократии" Кальвина.

"Да не будет на земле власти иной, кроме установленной Богом, Царем царствующих и Господом господствующих, ибо сказано: «Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе»", — завещает в 1564 году умирающий Кальвин. Если не в теократической мечте, то в исторической действительности обеих старых Церквей, католической и православной, есть только Святой Человек, а в новой Церкви Кальвина — есть Святой Человек и Святой Народ. Тайну "предопределения", "избрания", *Praedestinatio*, *Electio*, — этот глубочайший и огненнейший источник экстаза в реформе, Кальвин первый, за пятнадцать

веков христианства, осуществляет, или хотел бы осуществить не только в личности, но и в обществе. "Вы — род избранный, Святой народ, люди, взятые в удел", — скажет он женеvским гражданам, устанавливая свою "Теократию".

Это лицевая сторона медали, но есть и обратная, предсказанная Лютером, — почти совершенное подобие женеvской теократии и римской инквизиции, — Кальвина и Торквемады, вплоть до "милосердия кающимся еретикам" — удушения вместо сожжения на костре.

Что такое женеvская теократия — Царство Божие или застенки? Кажется иногда, и то и другое вместе в чудовищном смешении. "Кто не подумал бы, что Христос есть Молох или другой подобный, жертв человеческих требующий, Бог?" — скажет ученик Кальвина, гуманист Кастеллио, о сожжении "ересиарха", Михаила Сервета, Кальвином. "Бог Кальвина хуже Сатаны", — скажет бывший пламенный деятель внутренней, католической реформы, беглый кармелитский монах, Иероним Больсек, перешедший во внешнюю протестантскую реформу.

Все это и значит: "Сатана все тот же в обеих Церквях", католической и протестантской; разница лишь в том, что некогда, под властью римского папы, смешивал он Церковь с государством, а теперь, под властью папы женеvского, смешивает государство с Церковью. Но, сколько бы ни отрецивалась "свободная европейская демократия" от ужасной матери своей, женеvской теократии, — не отрестится: более, чем видимо, — осязаемо, по духу Кальвина в Руссо и Робеспьере, рождение революции от реформы, а значит и рождение всей европейской демократии от женеvской теократии; недаром же именно здесь, в Женеве, родится, чтобы тотчас умереть, бескровнейший из всех недоносков этой демократии, Лига Наций. Но, сколько бы ни отрецивалась и внутренняя, католическая реформа от внешней, протестантской, — тоже не отрестится: та родилась от этой — внутренняя реформа есть только антиреформа внешней.

4

"Слишком хорошо мы знаем, какие злодеяния совершались, в течение многих веков, на Св. Престоле... и мы сделаем все, чтобы преобразовать Церковь, reformatare". Кто это говорит — Лютер или Кальвин? Нет, папа Адриан VI. "Если не открыть людям дверей

(к будущему), то они их сами выломают”, — скажет умереннейший и боязливейший из людей, Эразм Роттердамский. ”Страшное в римской Церкви растление — вся эта громада бесстыдства, кощунства и алчности, неужели не грех?” — скажет Лютер почти то же, хотя и другими словами, что говорил еще Данте, устами ап. Петра, о папе Бонифации VIII:

Престол, престол, престол мой опустевший
Похитил он и, пред лицом Господним,
Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал,
Где кровь и грязь — на радость Сатане!

Тою же лопатою реформы, те же авгиевы конюшни римской Церкви очищают с двух противоположных сторон — с одной — Лютер и Кальвин, а с другой — св. Игнатий Лойола. Но куча навоза между ними так велика, что они не видят и не слышат друг друга; когда же увидят и услышат, то подерутся лопатами, и куча останется наполовину нетронутой.

”Тезисы эти (прибитые Лютером в 1517 году на дверях церкви в Виттенбергском замке) писаны пьяным немцем; протрезвится — образумится!” Этот суд папы Льва X над Лютером и всей католической Церкви над протестантской реформой, вплоть до наших дней, — окажется несправедливым и недействительным. ”Кто бы ни писал эту буллу, она — сплошное богохульство”, — скажет Лютер о папе Льве X, отлучившем его от Церкви, и, по крайней мере для половины христианского мира, отлучит самого папу от Церкви.

”Папа судит всех, а его — никто, и, если бы привел он людей ко вратам адовым, никто не мог бы его низложить”, — скажет один из первых судей Лютера, доминиканец Сильвестр Приэррий. ”Сам Господь Иисус Христос, отдав всю власть свою папе, уже не правит Церковью... Выше всех апостолов, ангелов, святых, выше самой Приснодевы Марии — он, потому что все они меньше Христа, а папа равен Ему”, — скажет продавец индульгенций, доктор богословия Иоанн Тецель, то, чего никто не говорил, но все молча делали в римской Церкви накануне реформы.

В спор Лютера с доктором Экком, на Лейпцигской Диете 1519 года, поставлен будет вопрос, которому суждено было сделаться движущей осью всего протестантства-реформации: кто видимая, присутствующая в веках и народах глава вселенской Церкви — папа или Христос? Доктор Экк отвечает вместе со всею римскою Церковью: ”Папа”. А Лютер вместе со всею протестантскою и православною Церковью отвечает: ”Христос”. — ”Церковь может быть и без Папы;

чтобы сохранить единство свое, нуждается она только в одной главе, Иисусе Христе. Не сказано ли Им самим: "се, Я с вами, во все дни, до скончания века. Аминь".

Папа здесь, на земле, а где же Христос? Вечное присутствие Папы в Церкви — вечное в ней отсутствие Христа — вот чего боятся Лютер и Кальвин; слишком боятся или не слишком, — в этом, конечно, весь вопрос. А св. Игнатий Лойола этого не боится; слишком не боится, или не слишком, — конечно, и в этом тоже весь вопрос.

"Не вопиющая ли несправедливость извергать из Церкви... такое великое множество мучеников и святых... какими, за четырнадцать веков, прославлена восточная Церковь?" — этот вопрос Лютера остается и доньше без ответа. Здесь-то именно и прошла линия первого разделения Церквей на Востоке, православной и католической, так же, как и второго разделения на Западе — Церквей католической и протестантской.

Был я чумой твоей, папа, при жизни, а в смерти
Буду смертью твоей...

Этому пророчеству Лютера не суждено было исполниться: если он при жизни, действительно, был или казался другим и себе "чумой для папы", то, после смерти, сделался не смертью для него, а жизнью, — той внутренней реформой Церкви, которая спасла ее, а вместе с ней и Папу.

"Надо бы добрым христианам омыть руки в крови папских приспешников и вытянуть им богохульные языки до самого затылка!" Это Лютер мог сказать только в одном из тех припадков "тевтонской ярости", *furor teutonicus*, которым был подвержен. "Я, Мартин Лютер, буду сражаться молитвами, а если нужно, кулаками!" От Лютера до наших дней — от молитв с кулаками до кулаков без молитв.

Сам Лютер, впрочем, иногда сознает, что и злейшие враги его не могли бы повредить ему так, как он сам себе вредит своей "тевтонской яростью". — "Сколько раз я себе говорил, что для научения мира мне бы надо быть сдержаннее в речах, спокойнее, пристойнее. Но, видно, Бог меня для этого не создал". — "Я слишком горяч, — это я и сам знаю, но зачем же дразнят меня они, (католики) пса на цепи? Гнусные богохульства их возмутили бы и каменное сердце".

Но, может быть, такое, по-видимому, спокойное изречение, как это: "быть христианином значит не быть римским католиком", — нисколько не лучше той кровожадной "тевтонской ярости". Не вопиющая ли несправедливость извергать из Церкви такое множество

мучеников и святых, какими она, за четырнадцать веков, прославлена? — можно бы спросить и Лютера о западной Церкви точно так же, как он спрашивает о Церкви восточной, и на этот вопрос он ничего не мог бы ответить.

О, если бы Лютер умел молчать! "Utinam Lutherus etiam taecat!" — чуть не плачет Меланхтон, и Кальвин молится: "О, если бы Лютер умел владеть собою!" — "Дай-то ему Бог утишить так неистово в сердце его бушующие бури!" Но когда сам Кальвин говорит, как будто "владея собою", в тишине всех бурь душевных: "Тело Христово не может быть унижено так, чтобы превратиться в хлеб Евхаристии", "Римская обедня есть нечто смердящее", — то это, может быть, страшнее всего, что говорит Лютер в своих "неистово-бушующих бурях".

Кто-то из учеников Кальвина предпочел быть сброшенным в пропасть, только бы не поклониться Кресту Господню, а другой дал себе проколоть язык раскаленным железом, только бы не произнести: Ave Maria. Это изуверство протестантское несколько не лучше, а может быть и хуже всех действительных или только мнимых "изуверств" католических, потому что здесь еще более страшное обеднение и опустошение человеческого духа. Но если праведный суд Божий судит людей не по злу, как суд человеческий, а по добру, то этим судом судимы Лютер и Кальвин.

5

"Тайным Предопределением своим Бог повернул меня в другую сторону, как всадник уздою поворачивает коня. Точно при блеске молнии, я увидел вдруг, в какую бездну лжи я был погружен". Это говорит Кальвин, в самом начале жизни, и скажет, в самом конце, когда уже люди не лгут, или, по крайней мере, не лгут сознательно: "Я во Христе жил и во Христе умираю. *Je vy et meurs à Christ*". "Богом свидетельствуюсь, что по мере дарованных мне сил, я учил Слову Божию во всей чистоте и боролся с врагами Его, как только мог, но воля и ревность моя были так слабы, что я чувствую себя виноватым во всем, и если бы не благодать Божия, то все, что я сделал, рассеялось бы, как дым", — говорит Кальвин в завещании своем, и в этом смирении, тоже пред лицом смерти, не лжет.

В лучшие минуты свои и Лютер не сомневался в своем божественном призвании: "Сам Бог ведет меня, и я иду за Ним; дело Его — мое". Но бывали у него и минуты сомнения: "Я и сам не знаю, каким

духом я одержим”, — Божеским или бесовским. — “Ты освободитель христианства”, — сказал ему кто-то. “Да, но так, как слепая лошадь, не знающая, куда правит всадник”, — ответил Лютер.

Вечная для него мука сомнений — вечный вопрос о Церкви.

”Сколько веков согласия у них (римских католиков) ... и какая мудрость, какая святость, какие чудеса... А у нас (протестантов) что? ... Только я, несчастный, едва родившийся на свет... Ни знания, ни мудрости, ни чудес, ни святости... Все мы вместе и клячи хромою чудом не исцелили. Что же мы такое? Кажется, то самое, что Волк в басне говорит Соловью: “Ты голос, и больше ничего, *vox es, praeterque nihil!*”

”Мы будем верны Христу и римской Церкви до нашего последнего вздоха, если даже Церковь нас отвергает”, — скажет Меланхтон. “Мы (протестанты) предлагаем вам (католикам) сделать все, что нужно, для восстановления мира в Церкви, — скажет Лютер, в 1530 году, в “Увещании к людям Церкви”. — Мы благочестивые еретики — ваши лучшие перед Богом и людьми заступники... вам не обойтись без наших молитв”. И, в 1537 году, во время тяжелой болезни, когда он думал, что умирает: “О, как обрадуются все друзья Папы, когда я умру! Но радость их будет обманчива, потому что они потеряют во мне усерднейшего молитвенника и ходатая своего перед людьми и перед Богом”. “Все заблуждения римской Церкви не дают нам права от нее отделиться, потому что она есть Церковь апостолов и мучеников”, — скажет Лютер в пылу борьбы с католической Церковью; и накануне своего отделения от нее: “Люди нечестивые видят в Церкви только грехи и немощи; мудрые мира сего соблазняются ею, потому что она раздираема ересями; чистая Церковь, святая, непорочная, грезится им. Такова она и есть в очах Господних, но в очах человеческих она подобна Христу, Жениху своему, презренному людьми, поруганному, избитому, оплеванному и распятому”. Это говорит Лютер о протестантской Церкви, но, кажется, бывали такие минуты, когда он мог бы или хотел бы это сказать и о Церкви католической.

Надо быть в римской Церкви, чтобы спастись; надо уйти из нее, чтобы спастись: это неразрешимое для Лютера противоречие — вечная мука его. Здесь, как во всяком глубоком религиозном опыте, вечное “да” и “нет” одному и тому же — два жернова, мелющих сердце человеческое, как пшеницу Господню.

”Я тоскую, как дитя, покинутое матерью”, — пишет Лютер, уходя из римской Церкви. И подписывает: “Лютер Несчастный”.

Какая ни на есть Церковь, какая ни на есть мать, — другой не будет. Или будет? Все религиозное движение, начатое Лютером и до

наших дней не конченное, — протестантство, реформация, не отвечает на этот вопрос; может быть потому, что ответ на него зависит не от человеческой воли: только тогда, когда сердце человеческое будет до конца измолото в пшеницу Господню, люди услышат ответ.

6

Такова отрицательная истина во внешней реформе Лютера и Кальвина, но есть в ней и положительная истина. Дело этой реформы есть не что иное, как возмущение, восстание человека не против Бога, как это казалось и все еще кажется римским католикам, а за Бога.

”Он возмущает народ”, — жалуются фарисеи Пилату на Иисуса (Лк. 28,4—5). Распят Он и был как ”возмутитель” и ”мятежник”. — ”Истины мятежной (”революционной”, по-нашему) я не люблю”, — скажет Эразм, и с ним согласились бы все папы, от Григория VII до Пия XII.

”А Христос любит”, — могли бы им ответить Лютер и Кальвин. ”Бог был явно со Христом, и так же явно — с Лютером, но оба они не были друзьями существующего порядка”, — верно и глубоко понял Гете.

В медленной постепенности реформы, преобразования бывают и точки мгновенных прерывов, взрывов, — переворотов, ”революций”, по-нашему. Медленно зреет жатва Царствия Божия, но Господин жатвы посылает жнецов своих, ангелов, внезапно: ”ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края... так будет Сын Человеческий, в день свой”. (Лк. 17,24). Слишком хорошо помнит римская Церковь постепенность преобразования, реформы, но слишком часто забывает внезапность переворота, ”революции”, — слово это неверное и недостаточное, потому что нерелигиозное, но у нас нет другого слова, понятного всем.

Вечный смысл всякого переворота, революции, — не в политическом и социальном, — ложном или поверхностном, а в глубоком, религиозном смысле, есть *освобождение*. Лютер и Кальвин поняли — слишком скоро перестали понимать, но на одно мгновение все-таки поняли то, чего так до конца и не понял св.Игнатий Лойола и почти никто из святых за пятнадцать веков христианства, — что надо сделать выбор между безопасной недвижимостью в рабстве и опасным движением к свободе.

”Брат Мартин, оставь эту книгу (св. Писание), — скажет Лютеру доктор Узингер, августинский монах, учитель его в Эрфуртской обители. — Надо читать отцов Церкви: они извлекли из св. Писания мед истины, а само оно производит лишь смуты и распри”. — ”Лет до двадцати я и в глаза не видел св. Писания; когда же наконец увидел в Эрфуртской монастырской библиотеке, то прочел его с великим удивлением”. С этого-то все и началось не только в жизни и в деле Лютера, но и во всей протестантской реформе, — с ”удивления”. В римской Церкви христианство, перестав быть удивительным, перестало быть самим собою. Папа меньше всего удивляется христианству; Лютер — больше всего. После тысячелетнего забвения, он первый вспомнил и напомнил людям, что ”нет ни одной религии, столь безмерной, крайней, все границы переступающей, *extravagans*, как христианство”. — ”Христианство очень странно, *le Christianisme est étrange*”, — это мог почувствовать Паскаль только потому, что до него почувствовал Лютер. Словом Божиим, как бы дыханием Божественных Уст, он сдунул с человеческих глаз пыль тысячелетней привычки — неудивления, — главное, что мешает людям увидеть Христа.

Самое удивительное в христианстве для Лютера то, что Бог воплотился в человеке. ”О, как Он мал! Кто этому поверит? Кесарь могущественнее, Эразм ученее, какой угодно монах праведнее. Вот почему дела Человека Иисуса так несказанны”, — удивительны. ”Я повторяю и всегда буду повторять: кто хочет возвыситься до такой мысли, которая может спасти человека, — должен все подчинять человечеству Иисуса Христа”. — ”Всюду, где страдает человек, Иисус страдает в нем”. Здесь, в религиозном опыте Лютера, впервые открывается снова в Сыне Божием Сын Человеческий, во Христе — Иисус. Церковь Сына Божия помнит, но Сына Человеческого почти забыла, а если и помнит, то не в живом религиозном опыте, а в мертвом догмате. Так же, как отрекающийся Петр, говорит и вся римская Церковь Петра: ”Не знаю Человека сего, — знаю только Сына Божия”, — а если и не говорит, то делает так, что могла бы это сказать. Весь религиозный опыт римской Церкви движется сверху вниз, от неба к земле, от Бога к человеку, а весь опыт Лютера движется обратно — снизу вверх, от земли к небу, от человека к Богу.

”Снова мы нашли Христа”, или точнее: снова мы нашли во Христе Иисуса, Сына Человеческого — в Сыне Божием, — верно и глубоко понял Гете и это. ”Мы еще не знаем всего, чем мы обязаны Лютеру и реформации... Только с ними могли мы, вернувшись к истокам христианства, постигнуть его во всей чистоте. Снова мы обрели мужество твердо стоять на Божьей земле и человеческую природу свою

чувствовать как дар Божий". Вот почему "действие Лютера, до наших дней, продолжается", по слову того же Гете, — действие Лютера, Кальвина и всей протестантской реформы.

"Этот учит, по крайней мере, чему-то совсем новому", — заметил кто-то о почти никому еще неизвестном юноше Кальвине; можно бы сказать то же о Лютере и о всей протестантской реформе. В католической Церкви все и все говорят только: "Было и есть", — а в протестантской — сказано впервые — пусть еще не сделано, но все-таки сказано: "Было, есть и *будет*".

Где совершится истинное преобразование или переворот, реформа или "революция" всего христианства, — в Церкви или в миру? откуда снова начнется прерванный путь человечества к Царству Божию, — из Церкви или из мира? Этот вопрос, поставленный в XVI веке обеими реформами, католической и протестантской, остается и до наших дней без ответа, а между тем, именно сейчас, когда во второй "тоталитарной" войне гибель грозит человеческой Личности, а следовательно, и всему христианскому человечеству больше, чем когда-либо, — последние судьбы его решаются только ответом на этот вопрос.

7

Стоит лишь сравнить протестантский храм с католическим или православным, чтобы сразу почувствовать в протестантском — зловещую и непоправимую убыль чего-то нужнейшего для религии: ни церковных сосудов, ни риз, ни лампад, ни икон, ни крестов; пусто, голо, холодно, и с каждым днем все холоднее, голее, пустынное: точно молодым хозяевам старого, милого, родного дома он почему-то вдруг опостылел так, что они решили покинуть его, заложить или продать, и вот, уже собрались в дорогу; все вещи уложены, сняты ковры с полов, занавески с окон, и хозяева, скучая, только ждут лошадей, чтобы выехать из дому. Что же именно ушло из протестантского храма — вера, молитва, святость? Нет, большее, — то, из чего все это рождается, — *экстаз*. Так же, как солнечный луч соединяет человека с Богом. А только что солнечный луч экстаза угасает, как связь человека с Богом прерывается, — угасает религия.

Есть еще у обоих "верховных апостолов" реформы, Лютера и Кальвина, экстаз. В сказанных на Вормской Диете 1541 года десяти словах — "Я здесь стою", — и прочее — десяти раскаленных каменных глыбах, брошенных титаном Бриареем — Лютером в католическое небо из вдруг зазиявшего кратера внешней реформы, так же, как и в том

Кальвиновом гимне "предопределенным", "избранным", *praedestinti, electi* — "Мы выше звезд небесных", — с которым можно бы сравнить только Павлов гимн Любви (1 Кор. 13), — один из огненнейших, когда-либо человека потрясавших экстазов. Но уже у ближайшего Лютерова ученика, Меланхтона, и у Кальвинова ученика, Теодора Бэзы, начинается убыль экстаза, которая увеличивается в геометрической прогрессии, в позднем протестантстве-реформации, до совершенного иссякновения и пустоты: "Се оставляется вам дом ваш пуст", — до того, что, соответственно Софокловой Амузии, *amouisia*, можно бы назвать безэкстазием, *aextasia*. И это еще тем удивительнее, что рядом с иссякновением родников экстаза в религии — в так называемой "культуре", от Возрождения до Революции, клокочут и брыжжут все выше, под самое небо, все горячее, как в Льдистой Земле, Исландии, кипящие фонтаны, чудовищные сопки демонических экстазов.

Пламя их нельзя угасить никакими водами трезвости-разума, потому что пламя это не гасится водой, как все другие огни, а только выше и ярче вспыхивает от воды, как от масла; или, другими словами: "тоталитарного" государства нельзя победить никаким государством относительным, как думают идеологи войны, а можно победить только теократией — государством тоталитарнейшим, но, разумеется, не в том смысле, в каком люди наших дней называют государство "тоталитарным", а совсем в ином, людям наших дней неизвестном; или еще другими словами: "царства бесовского" нельзя победить "царством человеческим", а можно — только Царством Божиим.

8

Мало сейчас христиан, в подлинном смысле этого слова, и эти немногие так слабы, по чужой или по своей вине, — так загнаны в самые темные углы, катакомбы бывшей христианской цивилизации, что судьбы мира помимо них решаются: что бы ни говорили они и ни делали, — мир идет своим чередом, как будто нигде, никогда, никакого христианства и не было, — подобно лунатику, идущему по карнизу пятиэтажного дома, как будто нигде, никогда, никакого закона тяготения и не было. Но, может быть, слишком поздно узнает лунатик, что этот закон все-таки есть; может быть, и мир узнает так же поздно, что есть христианство.

Кажется, закон, столь же неотменимый для душ человеческих, как для физических тел закон тяготения, — гласит: всякой душе нужен

экстаз для жизни, как воздух нужен огню для горения, и этому закону подчинены не только отдельные души людей, но и собирательные души народов, а может быть, и душа всего человечества. Люди благочестивые (таких одиноких и потому бессильных людей, может быть, не меньше и сейчас, чем всегда) знают имена восходящих ступеней экстаза: честь, долг, знание, красота, любовь; христиане же знают имя и высшей ступени, самое забытое и неизвестное: Христос.

Тот же неотменимый закон гласит: если жажда божественного экстаза остается неутоленной, то отдельные души людей так же, как собирательные души народов, впадают в экстаз сатанинский — такую же страшную болезнь, как у томимых жаждою животных — водобоязнь, бешенство. После войн собирательные души народов погружаются обычно в летаргический сон или обморок, — но отдельные души людей продолжают искать экстаза, каждая в своем углу и на свой страх, в высоком или низком, смотря по качеству душ: в личных подвигах или в наркотиках, в святой любви или в Содоме, в игре на бирже или теософии, в коммунизме, и проч. и проч., потому что неутоляющих экстазов, соленых вод, у нас сколько угодно.

Но спящие души народов просыпаются для новой войны, в которой люди снова и еще безнадежнее ищут экстаза: так путники, умирающие от жажды в пустыне, допив последние капли воды из меха и вывернув его наизнанку, жадно вылизывают тинистое дно; так же, после кораблекрушения, пловцы, стесненные в лодке среди океана, палимые жаждой и голодом, перед тем, чтобы кинуть жребий, кому быть пожранным, вскрывают себе жилы и пьют свою кровь.

”Все будут убивать друг друга”, — по шумерийской клинописи от середины IV тысячелетия, но повторяющей, вероятно, подлинник неизмеримо большей древности, может быть, не слишком далекой от X тысячелетия, когда, по летосчислению Платона, погибла ”Атлантида”, в первой Великой войне.

”Все плоды трудов человеческих пожирали Нефилимы, Исполины, так что люди уже не могли их кормить, и обратились они на людей, чтобы и их пожирать”, а потом — и на самих себя: ”И ели плоть свою, и пили кровь свою”, — вспоминает ”Книга Эноха” — гибель первого допотопного человечества, той же ”Атлантиды”. Кто эти ”Нефилимы”, мы хорошо знаем: Духи Войны, исполинские Силы Разрушения — осязаемые Незримые, пьющие кровь Бескровные.

”Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... бросались друг на друга, кололи и резали друг друга”, — повторяет

Достоевский "Атлантиду" Платона, "Книгу Эноха" и шумерийскую клинопись: было и будет.

Что же делать? Бесполезно об этом говорить с идущим по карнизу лунатиком, — надо, чтобы он сначала проснулся и вспомнил, что есть закон тяготения; надо, чтобы люди наших дней вспомнили, что есть христианство; чтобы и сами христиане поняли, что Христос совсем не то, чем Он им кажется.

А что же Церковь — разве не спасла и все еще не спасает мира? В этом вопросе — наша смертная боль — такая рана, что к ней и прикасаться, о ней и говорить почти нельзя.

Есть ли вне Церкви спасение? Нет. Потому-то мир и погибает сейчас, что вышел или выпал из Церкви.

Но, чтобы вернуться в нее, не надо ли миру перестать быть миром, может быть не только "лежащим во зле", но и идущим к добру? И Церкви, чтобы вместить мир, не надо ли перестать быть Церковью? Миру ответить на этот вопрос и значит сейчас погибнуть или спастись.

Воды жизни в Церкви все еще неиссякаемы, а в миру — палящая засуха, те страшные "Псиные Дни", Canicula, когда звери бесятся от жажды. Нынешнего мира болезнь — Богобоязнь.

Сколько сейчас таких больных! Жаждут сегодня, а может быть, завтра челюсти сожмутся судорогой бешенства, и жаждущий уже не будет жаждать. Воду жизни предлагать ему из Церкви все равно, что настоящую воду — больному водобоязнию.

В первый раз, накануне первой войны, мир, может быть, сам того не зная, ждал голоса Церкви, как палимая засухой, издыхающая от зноя земля ждет благодатного ливня.

Церковь промолчала. Мир ждет и сейчас того же голоса, и Церковь опять молчит, а если и говорит, то так, что голос ее почти не слышен миру.

Слишком строго судить ее за это нельзя. Русским коммунизмом вложен кляп в уста православной Церкви. Если же католическая все еще проповедует мир всего мира, то уже таким заглушенным и неуверенным голосом, как будто и сама не очень надеется, что после войны для *такого* мира может наступить действительный Мир.

Кажется иногда, что божественного экстаза, движущего не только отдельные души людей, но и собирательные души целых народов, а может быть, и душу всего человечества, так же мало сейчас в обеих Церквях, православной и католической, как и в миру. Но если так — на видимой поверхности обеих Церквей, то, может быть, в незримой глубине их иначе. Теплые ключи бьют иногда на дне замерзших рек: так, под ледяной корой обеих Церквей все еще бьют горячие родники

того божественного экстаза, который сдвинет когда-нибудь с мертвой точки не только отдельные души людей, но и собирательные души народов, а может быть, и душу всего человечества.

9

После двух первых и величайших учителей экстаза, ап. Иоанна и ап. Павла, учение это почти забыто в христианстве. Но если на видимой поверхности его экстаз уже потухает, то в незримой глубине он все еще горит.

Было три великих воспламенения экстаза: первое в XI веке, при св. Бернарде Клервосском; второе в XIII веке, при св. Франциске Ассизском, и третье в XVI веке, при св. Терезе Иисуса и св. Иоанне Креста. Следствием первых двух воспламенений была только внутренняя реформа католической Церкви, а следствием воспламенения последнего были две реформы – внутренняя католическая и внешняя, протестантская.

Только бессмысленные "случаи", или только "исторические необходимости" для неверующих, а для верующих чудеса Промысла Божия – такие совпадения времен, синхронизмы, как эти: в 1521 году, на Вормской Диете Лютер, когда произносит эти слова: "Я здесь стою, я не могу иначе; Бог да поможет мне! Аминь", – начинает внешнюю, протестантскую реформу, а в следующем 1522 году бежит из отчего дома в "землю Мавров", чтобы сделаться мученицей за Христа, семилетняя испанская девочка, Тереза дэ Агумада, которой суждено начать внутреннюю реформу католической Церкви. В 1564 году умирающий Кальвин завершает внешнюю реформу, провозглашая в Женеве "Царство Божие", Теократию: "Да не будет на земле власти иной, кроме установленной Богом, Царем царствующих и Господом господствующих", – и, в том же году, св. Тереза Иисуса завершает внутреннюю реформу, переключая экстаз из порядка личного в порядок общественный, "социальный" по-нашему. "О, как нужно это – (собирательные души народов, а может быть, и душу всего человечества движущая сила экстаза), – как это нужно для тех, кто призван вести народы!.. Чтобы сделать только один шаг в деле веры и осветить заблуждающихся только одним лучом света, они должны были бы пожертвовать тысячами Царств, потому что приобрели бы эту жертвою то Царство, которому не будет конца... О, если бы я могла это сказать в лицо всем государям!"

Когда Иисус хочет людям сказать то, что будет им казаться величайшим безумием, ниспровержением всего, не только государственного и церковного, но и логического порядка, достойным позорнейшей казни — Креста, но, вместе с тем, и то, что всего нужнее и спасительнее людям, — когда Он хочет это сказать, то предупреждает их в начале речи: "Истинно, истинно говорю вам!" — и в конце ее возглашает, должно быть, очень громким, потому что иногда и пятитысячной толпе слышным голосом: "Имеющий уши слышать, да слышит!"

Может быть, и св. Терезе, перед тем, чтобы сказать людям те невероятные, как будто не только весь логический, но и общественный порядок их ниспровергающие слова о божественном экстазе, следовало бы предупредить их в начале речи: "Истинно, истинно говорю вам!" И прибавить в конце: "Имеющий уши слышать, да слышит!" Если же она этого не делает, то, может быть, потому, что слишком уверена, что все равно никто ее не услышит.

Чудо экстаза, поднимающее людей из низшего порядка, где господствует метафизический закон необходимости и физический закон тяготения, подобие чуду "поднятия на воздух", *levitatio*, очень хорошо знакомо многим святым.

Однажды, в Троицын день, св. Иоанн Креста и св. Тереза Иисуса беседовали о божественной тайне Трех, как вдруг оба впали в экстаз, *arabamento*, и почувствовали, что поднимаются от земли на воздух; но и поднявшись продолжали беседу. Нечто подобное, может быть, испытает и все человечество в божественном экстазе, когда начнет переходить из порядка всемирной истории в порядок "Апокалипсиса", из вечной Войны в вечный Мир; может быть, и все человечество вдруг почувствует "сначала с великим страхом, а потом с миром, таким же великим" (как вспоминает Тереза бывшие с нею "поднятия"), что "поднимается от земли на воздух", как бы летит. Это именно внезапное чувство полета и будет концом "царства человеческого" — началом Царства Божия, концом всех войн — началом вечного Мира.

В старо-кастильском городе Авиле, где родилась св. Тереза, — после того, как она основала первую женскую обитель (в ней суждено было начаться католической реформе), — самые знатные и благочестивые граждане, собравши Совет, постановили разрушить эту обитель немедленно как "опасную для общего блага" — так и сказано в постановлении, — и если бы не покровительство короля Филиппа II, то, очень вероятно, постановили бы самое Терезу, как "бунтовщицу против государства и Церкви", сжечь на костре. Но вот что удивительнее: люди всех христианских веков и народов, самые простые, но

наиболее угнетенные мнимым порядком — действительным хаосом в государстве и в Церкви, — поняли бы непонятное мудрецам учение св. Терезы об экстазе и, может быть, спросили бы непонимающих: если так легко-возможен и так страшно-действителен, как это показывает опыт всех веков и народов, бессмысленно-разрушающий экстаз Чингисханов, Аттил, Лениных и Сталиных, то почему невозможен и недействителен тот божественный экстаз, который превратит наконец древний хаос в новый порядок, и уже не отвлеченно-словесно, а действительно поведет людей к Свободе, Равенству и Братству — к Царству Божию на земле, как на небе? И в страшные дни войны яснее, чем когда-либо, поняли бы самые простые люди эти такие мудрецам непонятные и невыносимые, потому что весь их логический и общественный порядок ниспровергающие, слова:

мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам (Ио. 14,27).

Пока все люди равно, простые и мудрые, не поймут, что это значит, — сколько бы миров ни заключали, — мира не будет. Поняли бы самые простые люди и эти такие мудрецам непонятные слова:

Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье (Ио. 6,55).

Пока все люди равно, простые и мудрые, не поймут, что и это значит, — "все будут убивать друг друга", в бесконечной войне, и, сколько бы миров ни заключали, — мира не будет.

10

Обе реформы, внешняя, протестантская, и внутренняя, католическая, удались только наполовину, а это, в последнем счете, значит: совсем не удались, потому что все, что не до конца, а только наполовину, не существует в религии. Обе реформы "отошли с печалью", как тот богатый юноша, которого тщетно призывал Господь к блаженному концу — Царству Божию (Мт. 19,22).

Только "случай", опять, или "историческая необходимость" для неверующих, а для верующих чудо Промысла Божия, заключается в том, что все провалы и пустоты обеих реформ, католической и протестантской, *взаимно-дополнительны*, так что лишь при соединении

обеих образуется полнота не только внешней, протестантской, и не только внутренней, католической, но и вселенской реформы — преобразования, или переворота — "революции" всего христианства. Это значит: обе реформы не удались, потому что могли удасться только *в соединении, а не в разделении Церквей.*

Более чем вероятно, что самой нелепой, нечестивой и чудовищной из всех человеческих мыслей показалась бы св. Иоанну Креста и св. Терезе Иисуса, так же точно, как св. Игнатию Лойоле, мысль о соединении Церквей, — конечно, под условием не насильственного отречения протестантской Церкви от себя самой, а вольного примирения с римскою Церковью. Но чудо Промысла Божия не заключается ли именно в том, что люди, святые и грешные одинаково, сами того иногда не зная и не желая, служат Ему? Меньше всего св. Иоанн Креста и св. Тереза делают что-либо для соединения Церквей и говорят и даже думают о нем, но можно сказать, что оба только и делают, только говорят и думают о том, чтобы найти к этому соединению — единственному для всего христианства возможному спасению, — путь.

"Все мы согрешили, воистину все!" — каялся, говоря о Лютере и о протестантской реформе, один из римских первосвященников XVI века. Если возможно было такое покаяние в XVI веке, то почему невозможно оно и в XX веке, или в одном из будущих веков? А стоило бы только римской Церкви покаяться так, чтобы соединение Церквей совершилось, и наступил конец всех войн и Войны — вечный мир — начало Царствия Божия.

"Я не согласен и не расхожусь во всем ни с этими (католиками), ни с теми (протестантами), потому что мне кажется, что у этих, так же, как у тех, — часть истины и часть заблуждения". Это говорит в книге "Восстановление христианства", *Christianismi Restitutio* Михаил Сервет, мученик обеих реформ, католической и протестантской, сожженный дважды, сначала "в изображении", *in effigie*, Великим Инквизитором Римской Церкви, а потом в действительности, — Великим Инквизитором Церкви Женевской, Кальвином. Если это могло быть сказано в XVI веке, то почему не могло бы — и в XX веке, или в одном из будущих веков? А стоило бы только христианам это сказать, чтобы соединение Церквей совершилось, и наступил конец всех войн, вечный Мир — начало Царства Божия.

Если человечеству наших дней суждено опомниться и остановиться перед бесконечным самоистреблением в ряде войн, — то оно

вынуждено будет вернуться к прерванному делу реформы в обеих западных Церквах, протестантской и католической, присоединив к нему и восточную православную Церковь.

Вечный Мир — начало Царства Божия — наступит только тогда, когда не в Разделении, а в Соединении Церквей, — в единой вселенской Церкви, люди скажут тому Единственному, чье Царство есть вечный Мир:

Да придет Царствие Твое.